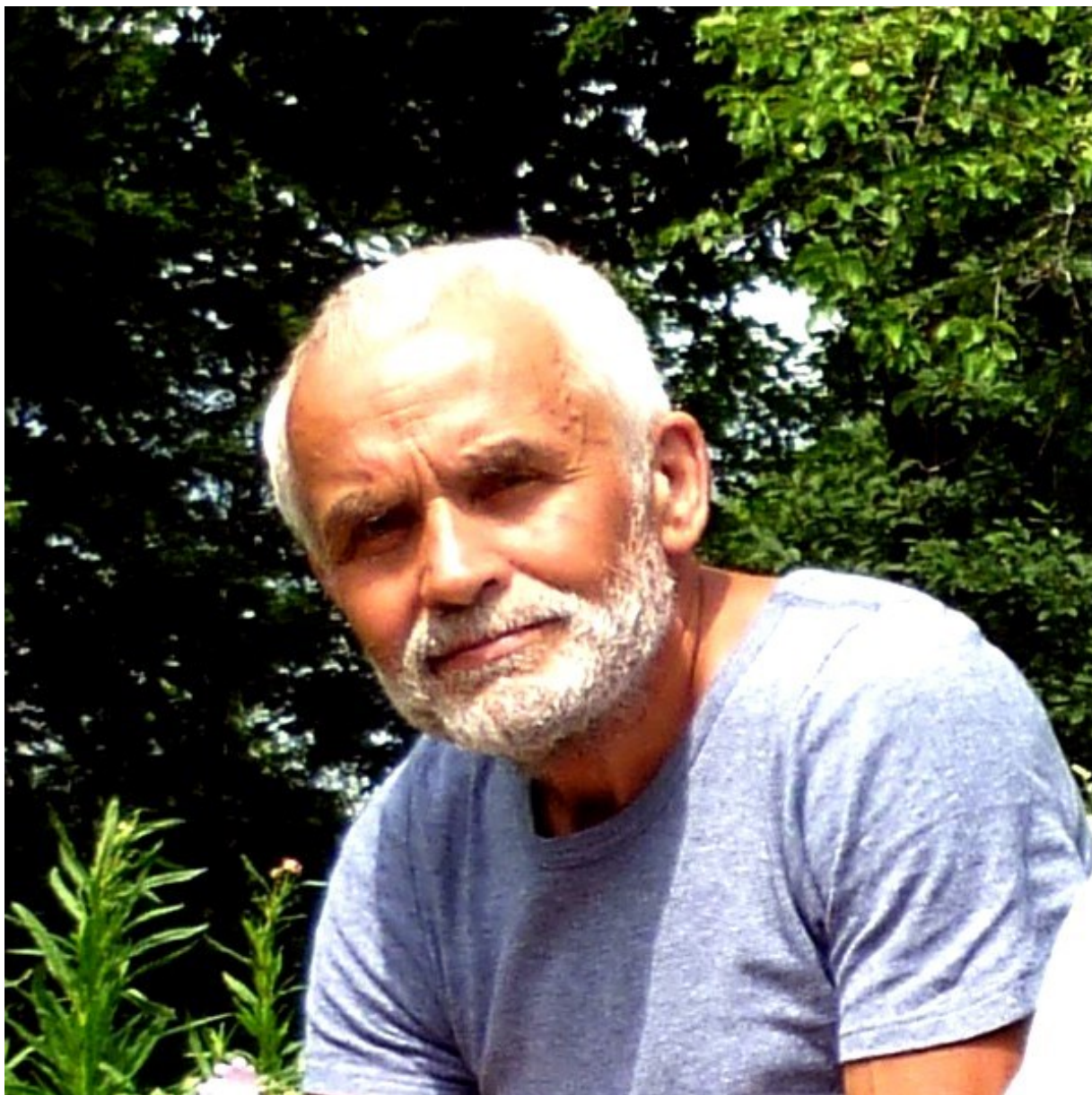


*Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

А.Пушкин

*Скажите: «Царское Село» -
И улыбнёмся мы сквозь слёзы.*

И.Анненский



За перекрёстком трёх дорог

В длинной веренице дел, ждущих меня в Петербурге и никогда не исполняемых мною по недостатку времени до конца, первое дело – это кладбища. Если случается ехать из Москвы ночным поездом, то уже в день прибытия спешу на Казанское кладбище в Пушкине – Царском Селе. Здесь могилы моих родителей, моих друзей, могилы, мне ранее неведомые, к которым меня странным образом приблизила жизнь.

Миновав Софийский собор, по Гусарской улице или по Кадетскому бульвару и далее по Сапёрной улице прихожу к перекрёстку трёх дорог, одна из которых ведёт на Казанское кладбище. Сзади здание тюрьмы, а впереди уже видны две грузных, лишённых изящества кордегардии (трудно поверить, что это творение Кваренги), фланкирующие вход на кладбище.

Справа от входа, к западу от него – братское кладбище времён Первой мировой войны. Здесь погребены солдаты-мученики, раненные на полях сражений и умершие в Царском Селе, превращённом инициативой царской семьи в 1914 – 1917 годах в один большой госпиталь. В 20-е годы при большевистском режиме кладбище было уничтожено, обращено в кочковатый пустырь, теснимый с одной стороны растущим кладбищем, обывательскими огородами – с другой. И вот только в недавние времена на месте братского кладбища установлен профессиональной рукой архитектора гранитный обелиск – дань памяти жертвам войны. Проходя мимо него, неизменно испытываю чувство вины и неловкости: иду навестить всего несколько могил, и без меня посещаемых, имеющих свои памятные знаки с именами погребённых. Здесь же, на возрождаемом братском кладбище, где покоятся, сотни, а скорее, – тысячи безымянных страдальцев, принявших муки и смерть в войне «бессмысленной и беспощадной» по слову Пушкина, сказанному им по другому поводу, только ровный газон, на котором нет ничего, кроме этого обелиска. И никто не знает имён тех, чей прах истлевает окрест.

Но ещё горше обуревающие меня чувства, когда, подходя к кладбищу, вспоминаю, что в его ближайших окрестностях – сразу за его границами, какими они были в начале 20-х годов, осенью 1921-го года происходили массовые расстрелы участников Кронштадского «эсерово-меньшевистского» мятежа. Здесь же, на местах расстрела, и зарыты тела «братушек»-матросов в ямах и рвах, ими же по указанию палачей предварительно выкопанных. Чудовищные эти преступления, запредельные по своей жестокости и цинизму, свершались у восточной, южной и западной границ кладбища. Более всего, кажется, - у южных его пределов, максимально удалённых от северной его стороны, где находится главный вход. Об этих трагических эпизодах советской истории, до сих пор остающейся в тени других, - случившихся в конце 30-х,

говорить как-то не принято. Узнал я впервые о расстрелах кронштадских повстанцев только в конце 80-х из повести Михаила Кураева «Капитан Дикштейн». Уже в постперестроечное время из сетевых публикаций «Мемориала» узнал о масштабах (огромных!) и местах совершения этих преступлений. Ныне на Казанском кладбище нет никаких мемориальных знаков, которые хотя бы просто информировали «почтенную публику», посещающую могилы своих родных, о том, что погребённых здесь значительно больше, чем крестов и обелисков. Нет никаких упоминаний об этом, третьем по счёту, кладбище и на официальном кладбищенском плане с импликацией, что установлен при входе. Так что большинство посетителей кладбища, вероятно, далеки от каких-либо моральных рефлексии по своему полному неведению относительно того, в каком скорбном и сакральном месте они находятся.

Нынче на местах этих массовых расстрелов - импровизированные свалки кладбищенского мусора, или новые захоронения (кладбище растёт!), или гаражи состоятельных царскосельских автовладельцев. Железнодорожная ветка, проложенная от Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги к пушкинскому военному аэродрому, почти совпадает с южной границей кладбища и, вероятно, проходит либо прямо через места погребения кронштадских матросов, либо в непосредственной близости от этих мест. Случалось мне прямо с кладбища, двигаясь на юго-восток, ходить пешком в Павловск. Сразу за пограничной канавой – низина, безобразно замусоренная и поросшая мелкоколесьем. Всякий раз думаю: не здесь ли...

Профиль легендарного командарма Тухачевского, искусно вырезанный на граните, и по сей день украшает фасад «дома на набережной» в Москве.

Начинается моё кладбищенское послушание, конечно, с родительских могил. Общее для обеих могил надгробие - два небольших обелиска, композиционно объединённых аркой, под которой урна, задрапированная тканью, - задумал и соорудил в первой середине 80-х при участии своих братьев Льва и Игоря. Обелиски и арка сложены из путиловской плиты, характерного для Петербурга досоветского времени строительного камня. Замковый камень арки – пудостский известняк, подобранный мною в заброшенном карьере недалеко от Тайцев, урна – армянский туф; порядочный кусок его «добыл» в прибрежных водах Москвы-реки.

Присаживаюсь на маленькую лавочку путиловского же камня. Не сидел я на ней ровно год. Пытаюсь мысленно ещё раз «прожить» свою долгую жизнь, подаренную мне родителями и прожитую под сенью их любви, под их опекой и защитой: наши скитания в Архангельской области и в Коми-крае - Кушкопалу, Усть-Цильму, Троицко-Печорск, Котлас, Вологду; поезд, паракход «Тургенев»,

самолёт У-2, сани под брезентовым тентом, влекомые лошадьё. Этот путь через заснеженную тайгу особенно запомнился мне, несмотря на мой тогда самый «нежный» возраст. Мы – мой старший брат, я и бабушка - сидели в кибитке, укрытые одеялами и обложенные сеном. Зимний день на севере короток – большую часть пути наш санный поезд преодолевал при лунном свете. Ночное светило сопровождало нас: Луна удивительным образом следовала за нашей кибиткой, едва не задевая за вершины ёлок, и ни на шаг от нас не отставая. Останавливались мы – останавливалась и она. Трогалась наша кибитка – и луна пускалась в путь. Я требовал от отца, шедшего впереди и ведшего лошадь под уздцы, чтобы он достал луну с неба. Отец отвечал, что луна слишком высоко. Ухватить её рукой он не может. Но вот когда мы приедем в деревню, он попросит у хозяйки кочергу, и тогда луну для меня достанет. А без кочерги – никак невозможно... А потом - тесная комнатка в пробитом до второго этажа авиационной бомбой 5-этажном доме на улице Правды (настоящее название – Кабинетская), недалеко от «Пяти углов»; потом наше «семейное гнездо» на улице Глинки в Пушкине – сначала комната в 2-этажном коридорного типа общежитии, потом малогабаритная квартира в хрущёвской пятиэтажке. Здесь я удостоился скорбной чести «закрыть глаза» обоим родителям: сначала отцу, потом, уже став москвичом, - матери.

Вечером 13-го декабря 1976 года мы с отцом засиделись на кухне. Беседовали на темы политические. В эти дни главной политической «злойбой дня» была предвыборная кампания кандидата в президенты США Джимми Картера, лидера предвыборной гонки. Я излагал отцу свою предвыборную программу, с которой выступил бы, если бы кандидатом в президенты Советского Союза был я – такое фантастическое допущение и было главной интригой нашей вечерней беседы. Главным пунктом моей «предвыборной программы», выдержанной в духе радикального либерализма, было удаление КПСС от кормила государственной власти и создание мирового правительства. Отец мне энергично оппонировал, указывая на неисполнимость моих обещаний и на сомнительную пользу от их реализации, буде таковая – чем чёрт не шутит - произошла бы. Я упорствовал в своих политических фантазиях, апеллируя к доводам абстрактной морали и космополитизма. Неожиданно отец «сдался на милость победителя»:

- А знаешь, Алёша,.. я бы, пожалуй, стал за тебя голосовать.

Уже выпал устойчивый снег. Я сказал отцу, что завтра же налажу ему лыжи – поставлю крепления под новые ботинки. Отец просил отложить подготовку лыж к зимнему сезону «на недельку»:

- Что-то у меня сердце это время побаливает...

Рано утром следующего дня отца не стало.

Почему-то вспоминается незначительный эпизод, относящийся к лету 1957 года, когда я в школьные каникулы в интересах семейного бюджета подрабатывал, исполняя обязанности сезонного рабочего при технике-топографе, занятом мензурной съёмкой. Работали мы километрах в четырёх к западу от Тайцев. Жилищем служил нам полуразвалившейся деревянный дом, оставшийся, вероятно, от находившегося в этом месте финского хутора. По завершении первой рабочей недели мне очень захотелось домой. Путь к дому, однако, был непрямым и недёшевым: пешком до станции Тайцы, далее на электричке до Балтийского вокзала, далее на метро до Витебского вокзала и, наконец, на электричке же до Царского Села. Денег я к тому времени ещё не заработал нисколько. Решил идти домой пешком напрямик: через Тайцы на станцию Кондокопшино. Там проехать одну остановку на электричке до Александровки, а оттуда – пешком через парк домой. Весь путь – километров восемнадцать. Изучил предварительно маршрут по топографической карте своего начальника-топографа и пустился в путь. После Тайцев шёл приблизительно по трассе Таицкого водовода, о котором тогда ничего не знал. Пришёл домой к вечеру, смертельно усталый. Дома была только мама, которая видимым образом была рада моему внезапному появлению (до начала эпохи мобильных телефонов оставалось ещё полвека) и встречала меня так, словно бы дома я не был не одну неделю, а долгие годы. Потом мама вручила мне мыло, мочалку, полотенце и отправила на Колонистский пруд, «Колоничку», - от нашего дома метров четыреста: до квартиры с ванной комнатой мы дожили только через десять лет после описываемых событий. Совершив омовение в водах «Колонички», ритуальное более, чем гигиеническое, на обратном пути пережил благодатное «чувство дома» - чувство погружения собственного существа в ту среду, в которой оно только и может существовать. Дома меня ждал роскошный при нашем скромном достатке ужин. Мама участия в трапезе не принимала, но только подкладывала в мою тарелку самые вкусные кусочки. После обстоятельного доклада о своих «трудовых свершениях» и о «беспримерном марше» между Ореховой горой и Вороньей – мама, человек профессионально причастный к топографии, меня внимательно и сочувственно слушала – меня потянуло в сон. Лечь на чистое бельё после ночёвок в грязной комнате в спальном мешке домашнего шитья было несказанным блаженством. Мама присела на мою кровать, гладила меня, 15-летнего юношу, у которого уже пробивалась борода, по голове и называла меня ласковыми словами, которые памяты мне были со времён раннего моего детства. Позже в своей долгой уже жизни нечасто мне приходилось переживать так же остро радость бытия, как в тот памятный мне вечер.

К слову, о раннем детстве. Незадолго до погружения в предсмертное беспамятство рассказала мне мама об обстоятельствах моего появления на

свет, в меру любопытных. Конец января 1942 года – самое тяжёлое за все 7 месяцев войны положение Красной армии, самое тяжёлое положение заключённого в блокадное кольцо Ленинграда. Райцентр Архангельской области Красноборск – большое село в среднем течении Северной Двины. Мороз – без малого 40 градусов. В родильном отделении районной больницы потолок выбелил иней, вода, пролитая на пол, замерзает через несколько минут. Новорождённых – я в их числе, - чтобы они не замёрзли, укладывали на край протопленной плиты, в среднюю часть которой был вмурован котёл. В нём кипятили воду для гигиенических процедур. Санитарка, уложив детей, вышла, а я размотал свои пелёнки и, следуя наклону поверхности плиты к её середине, скатился на котёл с кипятком, по счастью, закрытый крышкой. На мои истошные вопли санитарка среагировала не сразу. Когда меня принесли в палату к матери, я уже и кричать не мог. На боку моём – обширный ожог, и весь я, по словам мамы, чёрный – то ли перепачканный золой, то ли почернел от перенесённой травмы. Мама призналась, что не могла в первые минуты отождествить это жалкое, находящееся между жизнью и смертью, ближе к последней, существо со *своим сыном* и требовала принести ей *её сына*. Когда позже, уже взрослым человеком, я принимал душ и замечал едва заметный обширный шрам на своём бедре, недоумевал: откуда что берётся?..

Работы у меня на родительских могилах всегда много. Надо выдергать «траву забвения» внутри оградки и вокруг неё, убрать прошлогодние сухие листья, постричь кустарник, прочистить вымостку внутри оградки, помыть с мылом мраморные дощечки на обоих обелисках и сами обелиски, посыпать прилегающие к оградке тропинки песком, выполнить ремонтные работы на основной конструкции надгробия (цементирование трещин), если в этом усматриваю необходимость, покрасить оградку (не ежегодно, но опять же по необходимости), «посадить», наконец, цветы.

Фёдор Семёнович Каплан – личность для города Пушкина легендарная: спортсмен, учёный-химик, красавец - пушистые фельдфебелевские усы и девичий румянец во всю щёку. Даже в январские морозы Федя обходился без пальто: только прорезиненный военно-морской плащ согревал его плечи, голову – морская офицерская фуражка с золотым «крабом» на тулье. Искупавшись чуть свет в проруби на Большом пруду Екатерининского парка, Федя спешил на утреннюю электричку, чтобы вовремя поспеть на работу в Институт огнеупоров, что располагался в те времена в северном пакгаузе Биржи на Васильевском острове. В Огнеупорах Федя исправлял ответственную должность заведующего теплофизической лабораторией, ведущей лаборатории института. В те же времена – 70-е годы – работал и я в том же институте в гораздо более скромной должности - инженера Лаборатории микроструктурного анализа. Служебное наше неравенство не

мешало нашему приятельству, ведь мы были не только сослуживцы, но и земляки-царскосёлы. И не только в коридорах института и на регулярных защитах отчётов по завершённым научно-техническим темам встречались мы с Федей, но и у него дома на улице 1-го мая (ранее и теперь – это Конюшенная улица) – в единственной тесноватой комнате, где размещалась семья Феи – супруга и двое милых детей с редкими именами Савелий и Ульяна. Федя, не только учёный, кандидат наук, но и мастер на все руки, построил для своих малолетних чад двухъярусную кровать. Как человек, не чуждый столярному ремеслу, я высоко оценил Федину работу. Уже распростившись с Огнеупорами и став «столичной штучкой», я на правах гостеприимца встречал Фею в своём московском доме. Федя, страстный патриот и знаток Царского Села, привёз мне в подарок тщательно упакованные в полиэтилен три дубовых саженца - 3-х или 4-х лет. Это были дубки, не где-то случайно выросшие, но выросшие у стен Александровского дворца, на том самом месте, где в мае 1917 года Николай II, тогда уже «гражданин Романов», находящийся под домашним арестом в том самом дворце, где родился, при участии своих дочерей вскопал землю и посадил там картошку. Окучил дружно взошедшие побеги один раз, но собрать урожай не успел... Я эти дубки высадил на склоне оврага в дачном московском пригороде Булатниково. Один саженец не прижился, но два других принялись хорошо. Особенно быстро, к моему удивлению, пошёл в рост один из них. Через несколько лет он уже достиг своей вершиной кроны соседней раскидистой груши. Я решил на грушу залезть и спилить на ней большую ветку, мешавшую моему, т.е. Фединому, дубу подниматься вверх. Опасаясь, однако, негативной реакции на такое действие соседних дачников, я медлил. И вот приехал, наконец, на велосипеде, в целях конспирации - уже в сумерках, с пилой и обнаружил, что эта ветка на груше уже спилена кем-то из местных обывателей. Знал ли он, опередивший меня, какому мемориальному дубу открыл он путь к небу?

Захожу на Федину могилу... Она - в нескольких шагах от могил моих родителей. Известила меня о внезапной смерти Феи письмом его дочь Ульяна, прочитав моё письмо из Москвы, по неведению адресованное мною самому Фёдору, уже пребывавшему к этому моменту в ином мире. Неизменно находящаяся в образцовом порядке, могила Феи – камень с фотографиями самого Феи и его отца – несёт на себе зримые приметы заботливого внимания к ней осиротевших Феиных детей. Вырезан на камне символ профессии, унаследованной сыном от отца, -лабораторная реторта.

Случилось нам как-то в конце 70-х, моей маме и мне, пробираться между могил к могиле недавно умершего маминого супруга, моего отца. Мама обратила внимание на стоящее неподалёку от отцовской могилы очень скромное надгробие в виде небольшого бетонного обелиска грубой формовки

с венчающей его железной красной звездой – характерная композиция для послевоенных воинских погребений. В средней части обелиска – фотография покойного: молодой мужчина в солдатской форме с погонами рядового. Мама остановилась:

- Какое хорошее лицо!..

Посмотрел на красноармейца и я. Лицо действительно было хорошим: молодое, слегка глуповатое, с неопределённой полуулыбкой, застывшей на припухлых губах. Припомнил даже Заболоцкого: «... полуулыбка – полуплач...». Оказалось, что имя красноармейца – Василий Степанович Слепцов, что покинул он наш мир в 1961 году 23-х лет отроду. В 1961 году я был студентом-первокурсником, «грыз гранит науки» и вкушал все радости земного бытия. А Василий Степанович, почти мой ровесник, тем временем умер совсем молодым. Какая несправедливость! По высоте «травы забвения», выросшей на могильном холмике, заключённом в бетонную же раковину, можно было предположить, что со времени его погребения никто на могилу Василия Степановича не приходил. После смерти моей мамы, пережившей мужа на 6 лет, я установил шефство над могилой Василия Степановича. Всякий раз, закончив работу на родительских могилах, я иду на его могилу. Высекаю «траву забвения», крашу серебрянкой обелиск и раковину, «сажаю» недорогие искусственные цветы, с удивительным мастерством, изготавливаемые (как мне поведали торгующие цветами перед входом на кладбище женщины) китайцами. Красную звезду я за неимением красной краски покрасил «золотой» акриловой. На краткое время, которое мне осталось провести в этом мире, могила Василия Степановича спасена от забвения.

От могилы красноармейца Слепцова иду на могилу Юры Башировского. Это не очень далеко. С Юрой я приятельствую с 1949 года. Познакомились мы летом под сенью трёх старых лип, росших между нашими домами (одна из них удивительным образом жива до сих пор). Ржавый чугунный утюг, влекомый нами за привязанный к нему электрический провод, которого довоенное ещё происхождение выдавала его текстильная оплётка, представлял в наших играх пароход. Юра правдоподобно имитировал пароходный гудок. Я своему новому знакомцу подвывал, вспоминая недавно слышанные мною гудки печорских буксиров. Юра признался мне в порыве откровенности, что хотел бы, «когда вырастет большим», стать капитаном теплохода «Иосиф Сталин».

А 1-го сентября в моём 1-ом «а» классе я вновь встретил своего приятеля Юру – мы оказались одноклассниками. И ими оставались все десять школьных лет (на второй год никто из нас не оставался). За одной партой, впрочем, никогда не сидели. Свободно читающие на родном языке, мы с Юрой недоумевали, глядя на наших одноклассников, читавших по складам или же

читать вовсе не умевших. Принимаясь за очередной новый текст из букваря, учительница наша, незабвенная Наталья Никитична, поручала одному из нас – Юре или мне, – так сказать, выступить на публику - прочитать текст вслух. Не знаю, как Юра, но меня это необременительное задание нимало смущало своей простотой: к тому времени я знал наизусть не только «Муху-цокотуху» и «Дама сдавала в багаж», но прочитал кое-что из русской прозы. Любимой же книгой моего детства был «Дон-Кихот» Сервантеса в детском, конечно, переложении. Помню первую фразу этой моей любимой книжки с липкими «олеографическими» картинками, позже «зачитанной» кем-то из знакомых: «Полноте, господин Кихада, и что вам за охота возиться с этими дрянными книжонками! - говорила низенькая толстая женщина высокому худому мужчине с открытой книгой в одной руке и огромным мечом в другой».

Все десять школьных лет Юра был первым учеником класса. А я, за исключением двух последних школьных лет, – вторым. Способности Юры ко всем школьным наукам отмечала позже учительница биологии, относя это обстоятельство, впрочем, к числу не лично Юриных заслуг, но его родителей: вероятно, Зинаида Васильевна, так звали нашу учительницу, преподававшая нам «самую передовую» мичуринско-лысенковскую науку, кое-что знала и о науке альтернативной - «буржуазной лженауке» Вейсмана – Моргана – Менделя.

Человек был Юра – выраженного комического темперамента, «иронический человек», как сказал бы о нём Порфирий Петрович. Выражалось это в самых разных повседневных его реакциях на жизнь, на «бытиё, определявшее наше сознание». Кое-какие Юрины реплики, немногочисленные, к сожалению, сохранились в моей памяти. Например, такая. Летом 1957 года наш класс в полном составе отправили в совхоз Шушары на двухнедельные сельскохозяйственные работы – обычная практика «трудового воспитания» тех лет. В первый день мы вскапывали почву под яблонями в яблоневом саду на том самом месте, где ныне возведены трёхэтажные автомобильные развязки – головоломная транспортная структура, знаменующая окончательную и полную победу автомобиля над человеком. Работали мы с Юрой на пару. Старались. Устали очень. На обед в совхозной столовой будущим 9-классникам предложили жареную курицу с овощным гарниром. Тщетно пытаюсь разжевать кусок куриной плоти, Юра без тени улыбки заметил:

- Мне кажется, эта курица завершила свой жизненный путь ненасильственной смертью. О людях не в меру толстых Юра говорил «выше средней упитанности».

Нашего завуча, смуглолицего человека несколько чопорных, «английских»

манер, Юра называл *мистер Браун*, и это прозвище было очень к лицу нашему главному педагогу. Одной из учителей (не математики) Юра дал прозвище *Гипотенуза*, и это имя по своему фонетическому составу – звуки «Г», «У», «З» - удивительно точно передавало внешний облик и характер нашей учительницы, нами обоими, впрочем, любимой.

Исправляя общественную должность редактора классной стенгазеты «За дружбу», я не только отвечал за своевременный выпуск очередного номера, но и рисовал - по отсутствию в составе редколлегии «штатного» художника - заголовки к заметкам и карикатуры на прогульщиков и двоечников. Последнее занятие было совершенно чуждо моему малому таланту к рисованию. Наблюдая за моими тщетными попытками нарисовать что-нибудь смешное, Юра, храня полную серьёзность, дал мне совет:

- А ты рисуй на шероховатой поверхности – на асфальте, например, или на лестничной ступеньке. Тогда смешным будет получаться всё само собой. Кукрыниксы так именно и поступают.

В своём интеллектуальном развитии Юра заметно опережал меня. Как-то он сообщил мне, что очень любит... музыку Вагнера, что он погружается в подобие транса, слушая её (сознательно избегаю современного слова «балдеет»). Моё знакомство с немецкой музыкой в то время ограничивалось «Шотландской застольной» Бетховена. Значительно позже слушал я «Полёт Валькирий» в Большом зале. Дирижировал Евгений Мравинский. Зал был в трансе. Казалось, это сам Евгений Александрович колдовскими движениями своих длинных рук вызвал к жизни под сводами зала эту стаю крылатых дев со сверкающими мечами в руках. Место моё было в боковой ложе, близко от дирижёрского пульта. Я видел Мравинского в профиль, видел, что на кончике его горбатого носа дрожит капля пота... Слушал и вспоминал Юру, который полюбил музыку Вагнера лет на десять раньше меня. Впрочем, любимым композитором моим Вагнер так и не стал.

Озадачил меня сильно Юра, признавшись мне однажды, что желал бы свою жизнь посвятить... лингвистике. Я не посмел признаться, что не знаю значение слова «лингвистика», но одобрил профессиональный выбор друга. Дома открыл том Большой Советской Энциклопедии издания 50-х годов (радением моего отца это уникальное издание было в нашем доме) и прочитал – что же такое эта самая лингвистика. Прочитал и удивился. Сам я тогда мечтал о профессии лётчика.

Наш отроческий досуг мы с Юрой нередко проводили близ проходивших рядом с нашими домами железнодорожных путей уже упомянутой в этих моих заметках железной дороги южного направления. Начинается она под железным дебаркадером Витебского вокзала. Излюбленным нашим

занятием было – класть на рельсы перед приближающимся поездом гвозди. Машинист паровоза (эпоха пара в 50-е годы ещё не закончилась), издав издали заметивший наши приготовления, грозил нам из всегда открытого бокового окна паровоза кулаком и иногда запускал в нас куском антрацита. Проводив глазами последний вагон грузового поезда с неизменным дядькой в брезентовом плаще на задней его площадке, мы бежали к рельсам, чтобы поскорее взять в руки расплюснутые гвозди, превращённые вагонными колёсами в изящные ножички, тёплые на ощупь. На перегоне между Пушкином и Павловском железная дорога пересекает пересыхающий ручеёк по маленькому мостику. По очереди мы залезали под этот мостик, заведя приближающийся поезд. Не испытав ничего, кроме грохота над головой и дрожания железобетонных устоев, вылезал я из-под моста, гордый тем, что не уступил смелостью своему другу. Высшей доблестью, однако, считалось – лечь на шпалы ничком между рельсами, и чтобы сверху проходил поезд. Ни мой друг, ни я, к нашему счастью, до такого «героизма» не возвысились. Здравый смысл в наших головах всё-таки возобладал над мальчишеским авантюризмом.

Ближе к Павловску железная дорога проходит по уже более, чем основательному мосту над грунтовой дорогой, ведущей от Колонистского пруда всё в тот же «Павловск холмистый». В молодецких наших играх на мосту затеяли мы прыгать с моста на откос насыпи, постепенно удаляясь от начала моста и тем самым увеличивая высоту свободного падения. Лидировал в этом сомнительном соревновании я. Юра раз за разом в точности повторял мой прыжок. Дошли мы до без малого двухметровой высоты. Я прыгнул и покотился под откос. Юра потоптался на краю моста и тоже прыгнул, приземлился на песчаный откос и... остался лежать на нём ничком: не могу встать, - объяснил мне Юра, - нога. Мои попытки «взбодрить» своего друга, убедить его в том, что его недомогание – пустяк, что нам пора домой, успеха не имели. Юра не поднимался. Мой пессимистический диагноз, к счастью, оказавшийся ошибочным, был таков: перелом. Оставил лежащего на откосе насыпи Юру, пообещав вернуться через полчаса, и побежал домой – около двух километров – за помощью. Вернулся к мосту вместе с отцом и своим старшим братом Львом. Брат, тогда 16-летний уже юноша крепкого сложения, подставил свою спину, а мы с отцом подняли Юру и посадили его «на закорки». Брат принёс не слишком тяжёлого Юру домой, не отдохнув ни разу в пути. Бабушка Юры – она одна оказалась дома в тот момент – пришла в отчаяние от случившегося. Всё, к счастью, обошлось благополучно: Юрина травма, оказавшаяся банальным растяжением сухожилий, вскоре была излечена.

В один прекрасный день, ещё третьеклассниками, мы вдруг озаботились

вопросом: а доживём ли мы до 21-го века? Стали складывать и вычитать в уме четырёхзначные числа и пришли к выводу, что, если американцы не сбросят на нас атомную бомбу (в 1952 году это было вполне реальным опасением), то, пожалуй, сможем дожить. Дожили оба, но Юра умер в 2001 году, а я вот в 2017-ом пишу эти строки...

После выпускного акта в Екатерининском дворце (в 9-ом и 10-ом классах нам посчастливилось учиться в нём, ещё не возрождённом, в той его части, которая прилегает к Зубовскому флигелю) пути наши с Юрой разошлись. Юра поступил в медицинский институт, и мы с ним встречались только спорадически в электричках между Витебским вокзалом и Царским Селом. Потом Юра перебрался из своего «серого дома» на улице Глинки (особняк начала 20-го века в «готическом» вкусе – местная архитектурная достопримечательность), где он жил вместе с мамой, тётей и бабушкой в маленькой мансардной комнатухе, в блочную пятиэтажку в Купчине, и мы вообще с Юрой «раззнакомились». Узнал я о смерти Юры спустя без малого год *post factum*.

Могила Юры – в одной оградке с могилами его мамы, тёти и бабушки. Надгробий – простых, «без затей» невысоких пластин серого камня на бетонных цоколях – всего два: над Юриной могилой и над могилами трёх названных женщин, неустанно опекавших Юру на протяжении большей части его жизни. «Трава забвения» на могилах Юры и его близких обычно поднимается к августу до середины этих серых камней, до самых надписей на них с именами усопших. Не с момента ли моих предыдущих августовских посещений, не ведая ограничений, вырастает она такой?

Родных детей Бог Юре не дал...

Моя могила, наверное, будет выглядеть так же.

По пути от Юриной могилы к мавзолею Ланского, слева от главной аллеи – могила А. С. Малолеткина. Анатолий Сазонтович был соседом Юры по «серому дому» и сослуживцем моего отца, точнее – его начальником. Начальником и постоянным его оппонентом за шахматной доской. Азартный шахматист, Анатолий Сазонтович, по рассказам отца, как ребёнок радовался своим шахматным победам (играли с отцом в утренней электричке по пути на работу) и огорчался поражениям. Некоторое время шахматисты пребывали в ссоре и не играли в шахматы. Поводом для размолвки был отказ моего отца вернуть назад противнику его неудачный ход (переходить), приведший в конечном счёте Анатолия Сазонтовича к поражению. Этот красивый и добрый человек с тонкими чертами интеллигентного лица долго не имел собственных детей. Христианское его чадолюбие находило выход в общении с соседскими детьми, которых он угощал разными сладостями. Юра сложил про А.С. такое

трёхстишие:

*Повезло же мне и Светке:
Дядя Толя Малолеткин
Покупает нам конфетки!*

Юрина могила – поблизости от еврейского участка Казанского кладбища. Раньше мне случалось заходить туда из чистого любопытства - посмотреть на диковинные надписи на иврите, на изображения шестиконечного щита Давида, на надгробия в виде ствола дерева с обрубленными сучьями. После массового исхода богоизбранного народа из России в конце 70-х еврейский участок - в печальном запустении: ни торных тропок между могилами, ни свободных от патины времени надгробий, ни цветов перед ними. Отсутствие цветов, впрочем, по-видимому, имеет и иное, не связанное и «исходом» объяснение. Мне это стало ясным после прочтения случайно оказавшегося в поле моего внимания стихотворения Александра Городницкого – того самого, барда и учёного-геофизика, исследователя Атлантиды, автора бессмертных «Атлантов» («Атланты держат небо ...»). Вот это стихотворение:

Александр Городницкий

КАМНИ

Много раз объясняли мне это, и всё же неясно пока мне,
Почему не цветы на могилы приносят евреи, а камни?
Потому ли, что в жарких песках Аравийской пустыни,
Где в пути они гибли, цветов этих нет и в помине?
Потому ли, что там, где дороги души бесконечны,
Увядают цветы, а вот камни практически вечны?
Или в том здесь причина, что люди стремятся нередко,
Снявши камень с души, передать его умершим предкам?
Потому ли что Бог о идущих к нему вспоминая,
Эти камни горячие сыпал со склонов Синая,
Где под жёлтой рудой в голубой белизне пегматита
Прорастали слюдой непонятные буквы иврита?
Может быть эти камни — осколки погибшего храма,
Что немало веков берегают потомки упрямо?
К ним приходят потом, как к стенам неизбывного плача,
Вспоминая о тех, кто уже невозвратно утрачен.
А скорее, и в этом, возможно, основа идеи,
Эти камушки — часть каменистой земли Иудеи.
Чтобы всюду усопшие, где бы они ни лежали,

Вспоминали Отчизну, откуда их предки бежали.
Много раз объясняли мне это, и всё же понять я не в силах,
Почему только камни лежат на еврейских могилах?
Я не знаю причины, но верный традициям этим,
И холодной зимой, и неласковым питерским летом
На **Казанское кладбище к старой раскидистой ели**
На могилу родителей камни несусь я **в портфеле**.
Никаких не скажу на могиле родительской слов я -
Принесённые камни у их положу изголовья.
Постою над плитой — над водою невидимой Стикса,
Подчиняясь крутой незабывшейся воле инстинкта.
И когда под плиту эту лягу я с предками рядом,
Под осенним дождём, под весенним порывистым градом,
Принесите мне камушки тоже — неважно какие,
Но желательно всё же, чтоб был среди них **рапакиви**.
Потому что порвать не могу я связующей нити
С этим городом вечным, стоящем на финском граните ,
Где родился когда-то и вновь, вероятно, усну я,
Чужеродную землю наивно приняв за родную.

Для не-петербуржцев должен сделать пояснение.

Рапакиви — в буквальном переводе с финского «гнилой камень» - крупнозернистый гранит, которым облицованы набережные всех рек и каналов Петербурга, из которого высечены Александровская колонна, колонны Исаакиевского собора; «гром-камень» под «Медным всадником» - это тоже рапакиви. И ещё. Достоинно внимания то, что камни на родительские могилы Александр Моисеевич доставляет не в хозяйственной сумке, не в багажнике автомобиля, а в портфеле, среди рукописей.

Прочитал это стихотворение ещё в Москве и в свой очередной наезд Царское Село отправился на еврейский участок Казанского кладбища. «Раскидистую ель» (ель – дерево редкое на Казанском кладбище) - я увидел сразу. Она, правда, оказалась не такой уж раскидистой, вполне средней. Но вот никакой могилы Городницких я под елью не нашёл. Решил, что это просто поэтическая метафора, понятая мною слишком буквально. Через год я опять пошёл на еврейский участок и могилу родителей Александра Моисеевича обнаружил. Она оказалась не у «старой раскидистой ели», а несколько в стороне от неё, ближе к глубокому рву – границе кладбищенской территории. Цветов на могиле этой не оказалось, камней – тоже, но вот на некоторых соседних могилах небольшие камушки, точно, лежали. Если мне случится пережить Александра Моисеевича, то я обязательно принесу на его могилу камни. И среди них обязательно будет рапакиви.

Могила Иннокентия Фёдоровича Анненского - педагога, администратора,

филолога, поэта, переводчика, «русского Еврипида» - простая стела с посредственно выполненной мемориальной надписью, содержащей указание на профессиональную принадлежность покойного – «поэт». Надгробие не аутентично. Установлено оно в 60-е годы по инициативе Ленинградского отделения Союза советских писателей и имеет удручающе казённый облик. В отличие от надгробия, ограда – литой чугун простого рисунка с копьевидным завершением вертикальных элементов и небольшими четырёхконечными крестами по углам, - по-видимому, установлена уже в начале десятих годов 20-го века. О её аутентичности свидетельствует и глубокая коррозия нижней её части, более верхней подвергавшаяся действию атмосферной воды. Куда делось надгробие, современное сохранившейся ограде, неизвестно. Вероятно, утрачено оно было ещё в 30-е годы или позже, в годы войны. В оградке – ещё одно надгробие: склёпанный из типового стального проката крест с маленькой жестяной табличкой на нём, покрашенной вместе с крестом чёрной краской так, что прочесть что-либо на ней невозможно. Этот крест, несомненно, установлен уже в советское время, в 40-50-х годах. Стоял крест до недавнего времени на простом земляном холмике, поросшем травой – так же, как и ограда, являвшемся аутентичным элементом второго надгробия. В 2013(?) году, вероятно, по инициативе муниципальной администрации Пушкина было проведено «благоустройство» могил: вся территория внутри оградки вместе с памятниками была слегка приподнята путём отсыпки добавочного грунта, и окружена бетонным бордюром так, что оба надгробия оказались как бы на невысоком стилобате, которого раньше не было. В ходе этого «благоустройства» упомянутый земляной холмик был заменён подобием клумбы, обнесённой опять же бетонным бордюром. В чём был смысл этой реконструкции – загадка.

Когда я впервые пришёл на могилу Анненского – было это в начале нулевых – на оградке я обнаружил прикрученную к ней проволокой табличку из листового алюминия. На табличке этой были написаны имена всех Анненских, погребённых здесь – их оказалось четверо: Иннокентий Фёдорович, его супруга Надежда Валентиновна, его сын Валентин Иннокентиевич и супруга сына Ольга Александровна. Под каким из двух надгробий покоится прах каждого из трёх последних в этом перечне персон – остаётся неясным. В 2006 году мы в сотрудничестве с моим, ещё университетским, другом привели могилы Анненских в порядок – убрали мусор, выкорчевали несколько молодых клёнов, уже успевших вырасти на могилах и рядом с ними, покрасили оградку битумным лаком. В следующий мой наезд в Царское Село мы отыскивали небольшой валун скандинавского, если верить геологической науке, происхождения. С помощью простейших инструментов стесали на одной его стороне неровности, добившись ровной поверхности, и закрепили на ней четырьмя саморезами с декоративными

головками мраморную дощечку, приготовленную мною ещё в Москве и привезённую в Петербург в заплечном мешке. На дощечке в технике глубокой резьбы с последующим «золочением» акриловой краской в точности повторены имена и годы жизни всех четырёх персон, указанных в упомянутой выше алюминиевой табличке. На ручной 2-колёсной тележке привезли валун с садового участка возле станции, где производились камнерезные работы, на кладбище и установили на могилы Анненских, в углу оградки, превратив, таким образом, финский валун в памятник. Для невысокого стилобата, на котором стоит камень, мы использовали правильной формы путиловскую плиту, которую я ещё раньше заметил в куче мусора возле Мавзолея Ланского. Изначально хотел установить камень так, чтобы надпись на нём была обращена ко входу в оградку. Мой товарищ убедил меня, однако, поставить камень в диагональную позицию – надписью ко входу и одновременно – к могилам. Последовав рекомендации моего соратника, я убедился в его отменном композиционном чутье: диагональное положение камня было, несомненно, более удачным, чем фронтальное, задуманное мною ранее. Тогда же соорудили мы деревянную скамейку на 3-4 персоны всё там же, на садовом участке возле станции Детское Село, покрасили её зелёной краской, привезли на кладбище и установили за пределами оградки на небольшой площадке, занятой к моменту нашего появления на могилах Анненских кучей мусора. К стволу соседнего дерева была прикреплена табличка с надписью: «Мусор не бросать». Мусор мы убрали вместе с этой табличкой. Предполагалось, что скамейкой воспользуются те редкие почитатели таланта Анненского, которые захотят почтить память поэта и его близких. Не знаю, сидел ли на этой скамейке кто-нибудь, кроме нас. Как-то очень быстро она начала ветшать, а в 2016 году её не стало. А вот камень пока стоит. Воле него всегда цветы – искусственные и живые, т.е. срезанные.

На могилах Анненских работы у меня обычно немного: убираю прошлогодние листья, давно увядшие гвоздики и розы, отстоявшие свой срок искусственные цветы, вырываю вездесущие маленькие клёны и сорную травку, подметаю вокруг оградки. В нынешнем, 2017-ом, год снял мраморную доску с камня и дома возобновил «золочение» надписи.

На Казанском кладбище могилами Анненских заканчивается моё ежегодное кладбищенское послушание. Впереди у меня ещё Серафимовское кладбище, Богословское, Северное Парголовское и - братская могила в маленьком посёлке Красная Мыза, на 68 километре Нарвского шоссе. У автобусной остановки, сразу под откосом дороги, - памятник, не очень удачно задуманный и не очень хорошо осуществлённый в бетоне и камне. Но благодарность моя тем, кто его установил здесь - на месте погребения 27 красноармейцев, погибших в ходе февральского 1944 года наступления

Красной армии. На гранитной плите в основании памятника скорбный перечень из 27 имён. 24 строку в нём занимает имя В.В. Фишера, младшего сержанта. Это мой дядя, старший брат моего отца.

Олег Фишер
Москва, 2017 г.

